

МОЯ ЖИЗНЬ

I

Я родился в Москве в 1861 году, 23 ноября, на Рогожской улице, в доме деда моего Михаила Емельяновича Коровина, московского купца первой гильдии. Прадед мой, Емельян Васильевич, был родом из Владимирской губернии, Покровского уезда, села Данилова, которое стояло на Владимирском тракте. Тогда не было еще железных дорог, и эти крестьяне были ямщиками. Говорилось — «гоняли ямщину», и не были они крепостными.

Когда родился прадед мой, то, по обычаю, сел и деревень, находящихся по Владимирскому тракту, при рождении ребенка отец выходил на дорогу и первого, которого гнали в ссылку по этой дороге, Владимирке, спрашивал имя. Это имя и давали родившемуся ребенку. Будто это делали для счастья — такая была примета. Нарекали родившегося именем преступника, то есть несчастного. Так полагалось обычаем.

Когда родился мой прадед, по Владимирке везли в клетке с большим конвоем «Емельку Пугачева», и прадеда наименовали Емельяном. Сын ямщика, Емельян Васильевич был впоследствии управляющим в имении графа Бестужева-Рюмина, казненного Николаем I декабриста. Графиня Рюмина, лишённая прав дворянства, после казни мужа родила сына и умерла родами, а сын Михаил был усыновлен управ-

ляющим графа Рюмина, Емельяном Васильевичем. Но у него был и другой сын, тоже Михаил, который и был мой дед. Говорили, что огромное богатство моего деда пришло ему от графа Рюмина¹.

Дед мой, Михаил Емельянович, был огромного роста, очень красивый, и ростом он был без малого сажень. И жил дед до 93 лет.

Я помню прекрасный дом деда на Рогожской улице. Огромный особняк с большим двором; сзади дома был огромный сад, который выходил на другую улицу, в Дурновский переулок. И соседние небольшие деревянные дома стояли на просторных дворах, жильцами в домах были ямщики. А на дворах стояли конюшни и экипажи разных фасонов, дормезы, коляски, в которых возили пассажиров из Москвы по арендованным у правительства дедом дорогам, по которым он гонял ямщину из Москвы в Ярославль и в Нижний Новгород.

Помню большой колонный зал в стиле ампир, где наверху были балконы и круглые ниши, в которых помещались музыканты, играющие на званых обедах. Помню я эти обеды с сановниками, нарядных женщин в кринолинах, военных в орденах. Помню высокого деда, одетого в длинный сюртук, с медалями на шее. Он был уже седым стариком. Дед мой любил музыку, и, бывало, сидит один дед в большом зале, а наверху играет квартет, и дед позволял только мне сидеть около себя. И когда играла музыка, дед был задумчив и, слушая музыку, плакал, вытирая слезы большим платком, который вынимал из кармана халата. Я тихо сидел около деда и думал: «Дед плачет, так, значит, надо».

¹ Возможно, К. А. Коровин имеет в виду отца декабриста — Павла Николаевича Бестужева-Рюмина, поскольку жены и детей у казненного в 23-летнем возрасте Михаила Павловича не было.

Отец мой, Алексей Михайлович, тоже был высокого роста, очень красивый, всегда хорошо одетый. И я помню, панталоны на нем были в клетку и черный галстук высоко закрывал шею.

Я ездил с ним в экипаже, похожем на гитару: мой отец садился верхом на эту гитару, а я сидел впереди. Меня держал отец, когда ехали. Лошадь у нас была белая, звали Сметанкой, и я ее кормил с ладони сахаром.

Помню вечер летом, когда на дворе поблизости ямщики пели песни. Мне нравилось, когда пели ямщики, и я сидел с братом Сергеем и своей матерью на крыльце, с няней Таней и слушал их песни, то унылые, то лихие, с посвистом. Они пели про любушку, про разбойников.

Девушки-девицы раз мне говорили,
Нет ли небылицы из старинной были...

Возле бора сосенок береза стоит,
А под той березою молодец лежит...

Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он
Про отчий край, про край родной...

Не одна во поле дороженька пролегла широка...

Хорошо помню, когда наступал поздний вечер и небо охватывала мгла ночи, над садом показывалась большая красная комета, размером в половину луны. У нее был длинный хвост, пригнутый вниз, который лучился светящимися искрами. Она была красная и будто дышала. Комета была страшная. Говорили, что она к войне. Я любил смотреть на нее и каждый вечер ждал, ходил смотреть на двор с крыльца. И любил слушать, что говорят про эту комету. И мне хотелось узнать, что это такое и откуда пришла она пугать всех и зачем это.

В большие окна дома я видел, как иногда ехала, запряженная четверкой лошадей, по улице Рогожской страшная повозка, высокая, с деревянными колесами. Эшафот. И наверху сидели двое людей в серых арестантских халатах, со связанными назад руками. Это везли арестантов. На груди каждого висела большая, привязанная за шею черная доска, на которой было написано белым: **Вор — убийца**. Отец мой высылал с дворником или кучером передать несчастным баранки или калачи. Это, вероятно, так было принято из милосердия к страждущим. Конвойные солдаты клали эти дары в мешок.

В беседке сада летом пили чай. Приходили гости. У отца часто бывали его друзья: доктор Плосковицкий, судебный следователь Поляков и еще молодой человек Латышев, художник Лев Львович Каменев и художник Илларион Михайлович Прянишников, совсем юноша, которого я очень любил, так как он устраивал мне в зале, опрокидывая стол и покрывая его скатертями, корабль «Фрегат „Палладу“». И я залезал туда и ехал в воображении по морю, к мысу Доброй Надежды. Это мне очень нравилось.

Также я любил смотреть, когда у матери моей на столе лежали коробочки с разными красками. Такие хорошенькие коробочки и печатные краски, разноцветные. И она, разводя их на тарелке, кистью рисовала в альбом такие хорошенькие картинки — зиму, море, — такие, что я улетал куда-то в райские края. Отец мой тоже рисовал карандашом. Очень хорошо, говорили все — и Каменев, и Прянишников. Но мне больше нравилось, как рисовала мать.

Дед мой Михаил Емельянович хворал. Сидел у окна летом, и ноги его были покрыты меховым одеялом. Я и мой брат Сергей сидели тоже с ним. Он нас очень любил и меня расчесывал гребешком. Когда по

улице Рогожской шел разносчик, то дед звал его рукой, и разносчик приходил. Он покупал все: пряники, орехи, апельсины, яблоки, свежую рыбу. А у офеней, которые носили большие белые коробы с игрушками и выкладывали их перед нами, ставя на пол, дед также покупал все. Это было радостью для нас. Чего только не было у офени! И зайцы с барабаном, и кузнецы, медведи, лошади, коровы, которые мычали, и куклы, закрывающие глаза, мельник и мельница. Были игрушки и с музыкой. Мы их потом ломали с братом — так хотелось узнать, что внутри их.

Моя сестра Соня заболела коклюшем, и мать увезла меня к няне Тане. Вот где было хорошо... У ней было совсем по-другому. Небольшой деревянный дом. Я лежал больной в постели. Бревенчатые стены и потолок, иконы, лампадки. Таня около меня и ее сестра. Замечательные, добрые... В окно виден сад зимой в инее. Топится лежанка. Все как-то просто, как надо. Приходит доктор Плосковицкий. Я был рад всегда его видеть. Он прописывает мне лекарства: пилюли в таких хорошеньких коробочках, с картинками. Такие картинки, что так никто не нарисует, думал я. Часто приезжала и мать. В шляпе и кринолине, нарядная. Привозила мне виноград, апельсины. Но запрещала мне давать есть много и сама привозила только суп-желе, зернистую икру. Доктор не велел меня кормить, так как у меня был сильный жар.

Но когда мать уезжала, то моя няня Таня говорила:

— Так касатика (это я — касатик) уморят.

И мне давали есть жареного поросенка, гуся, огурцы, и еще из аптеки приносили длинную конфету, называлась «девья кожа», от кашля. И все это я ел. И «девью кожу» от кашля без счета. Только Таня мне не велела говорить матери, что меня по-

росенком кормят, и про «девью кожу» ни гугу чтоб. И я ни за что не говорил. Я верил Тане и боялся, как говорила ее сестра Маша, что, не евши, меня уморят совсем. Это мне не нравилось.

А на коробочках — картинки... Такие там горы, елки, беседки. Мне сказала Таня, что недалеко за Москвой такие растут. И я подумал: как только выздоровлю, уйду туда жить. Там мыс Доброй Надежды. Сколько раз я просил отца поехать. Нет, не везет. Уйду сам — погодите. И Таня говорит, что мыс Доброй Надежды недалеко, за Покровским монастырем.

Но вдруг приехала мать, прямо не в себе. Плачет навзрыд. Оказалось, что сестра Соня умерла.

— Это что же такое: как умерла, зачем?..

И я ревел. Я не понимал, как же это так. Что такое это: умерла. Такая хорошенькая, маленькая Соня умерла. Это не надо. И я задумался и загрустил. Но когда мне Таня сказала, что у ней теперь крылышки и она летает с ангелами, мне стало легче.

Когда настало лето, я как-то сговорился со своей двоюродной сестрой, Варей Вяземской, пойти на мыс Доброй Надежды, и мы вышли через калитку и пошли по улице. Идем, видим — большая белая стена, деревья, а за стеной внизу река. Потом опять улица. Магазин, в нем фрукты. Вошли и спросили конфеты. Нам дали, спросили, чьи мы. Мы сказали и пошли дальше. Какой-то рынок. Там утки, куры, поросята, рыба, лавочки. Вдруг какая-то женщина толстая смотрит на нас и говорит:

— Вы чего же это одни?..

Я ей насчет мыса Доброй Надежды, а она взяла нас за руки и сказала:

— Пойдемте.

И привела нас в какой-то грязный двор. Повела на крыльцо. В доме у нее так нехорошо, грязно. Она

посадила нас за стол и поставила перед нами коробку большую картонную, где были нитки и бисер. Бисер очень понравился. Она привела других женщин, все смотрели на нас. Дала нам к чаю хлеба. В окнах уже было темно. Тогда она нас одела в теплые вязаные платки, меня и сестру Варю вывела на улицу, позвала извозчика, посадила нас и поехала с нами. Приехали мы к большому дому, грязному, страшному, башня-каланча, и наверху ходит человек — солдат. Очень страшно. Сестра ревела. Вошли по каменной лестнице в этот дом. Там какие-то страшные люди. Солдаты с ружьями, с саблями, кричат, ругаются. За столом сидит какой-то человек. Увидев нас, вышел из-за стола и сказал:

— Вот они.

Я испугался. И человек с саблей — чудной, будто баба, — повел нас наружу, и женщина тоже пошла. Посадили на извозчиков и поехали.

— Ишь пострелы, ушли... неслухи, — слышал я, как говорил человек с саблей женщине.

Привезли нас домой. Отец и мать, много в доме народу, доктор Плосковицкий, Прянишников, много незнакомых. Тут и тетки мои, Занегины, Остаповы, — все нам рады.

— Куда делись, где были?..

Человек с саблей пил из стакана. Женщина, которая нас нашла, что-то много говорила. Когда человек с саблей уходил, то я просил отца оставить его и просил, чтобы он дал мне саблю, ну хотя бы вынуть, посмотреть. Эх, хотелось мне такую саблю иметь! Но он мне ее не дал и смеялся. Я слышал, что кругом много говорили в волнении и все про нас.

— Ну что, видел, Костя, мыс Доброй Надежды? — спросил меня отец.

— Видел. Только это за рекой, там. Я туда не дошел еще, — сказал я.

Помню, все смеялись.

Как-то зимой дед захватил меня с собой. Проехали мы мимо Кремля, через мост реки, и подъехали к большим воротам. Там стояли высокие здания. Мы слезли с саней, прошли во двор. Там были каменные амбары с большими железными дверьми. Дед взял меня за руку, и мы спустились по каменным ступеням в подвал. Вошли в железную дверь, и я увидел каменный зал со сводами. Висели лампы, и в стороне стояли в шубах татары в ермолках. В руках у них были саквояжи в узорах из ковровой материи. Еще какие-то люди, знакомые деда моего: Кокорев, Чижов, Мамонтов. Они были в шапках и теплых хороших шубах с меховыми воротниками. Дед здоровался с ними. Они посмотрели и на меня и сказали: «Внук».

Посредине подвала стоял большой сундук, желтый, железный, окованный, в пуговицах. Сундук блестящий и узорный. Один из них вставил ключ в замок и открыл крышку. Когда подняли крышку, сундук издал звуки, как музыка. Из него Кокорев вынимал толстые пачки бумажных денег, перевязанные бечевкой, и бросал эти пачки в мешки подходящих татар. Когда наполнялся мешок одного татарина, подходил другой и также клали ему. А Мамонтов писал на стене мелом, говоря: «Миллион четыреста тыщ. Два миллиона сто сорок тыщ. Шестьсот тыщ. Миллион триста тыщ». Татары уходили с мешками наружу, а потом все заперли — и сундук, и двери, и мы ушли. Дед сел в сани с Мамонтовым и посадил меня на колени. Мамонтов сказал дорогой деду, указав на меня:

— Парнишка Алексея. Любишь ты его, Михаил Емельянович...

Дед смеялся и сказал:

— Да как их не любить... А кто, что́ потом будет — невесть. Жизнь идет, все меняет. Он ничего

парнишка. Музыка любит... Слушает, не скучает. Ты спроси его, где мыс Доброй Надежды. Он из дому раз ушел искать его, мыс-то. Что было с матерью, с отцом. Вся полиция искала в Москве. Нашли... Мальчишка любознательный.

Это говорили про меня.

Приехали к большому белому дому. Вошли по лестнице в большой зал. Всё столы. За столами сидят люди, многие в белых рубашках. Подают кушанья. И мы сели за стол. Подали блины и в бурачках икру. Мне положили блин и икру из бурачка ложкой. А я смотрю — один в белой рубашке несет большой вал. Вставил его в такую странную штуку, вроде комода в стеклах, и повертел сбоку ручку. Эта штука заиграла. А за стеклами что-то вертелось. Очень интересно. И я пошел смотреть.

Потом дед, милый добрый дед, взял и умер. Мне сказала утром Таня. Я удивился и думал: зачем это? И увидел в зале большой гроб-колоду, там дед, бледный, глаза закрыты. Кругом свечи, чад, дым. И все поют. Много, много в золотых кафтанах. Так нехорошо, что это такое? Так нехорошо... Так жалко деда... И всю ночь не спали. А потом его вынесли на двор и все пели. Народу, народу... ужас сколько. И плакали все, и я... Деда повезли по улице. Я ехал с отцом и матерью за дедом. Увезли... Приехали в церковь, опять пели и потом опустили деда в яму, закопали. Это невозможно... И я не мог понять, что же это такое. Нет деда. Вот горько. Все я плакал, и отец плакал, и брат Сергей, и мать, и тетки, и няня Таня. Я спрашивал у приказчика Ечкина, увидав его в саду, зачем дед умер. А он говорит:

— Бог взял.

Думаю: вот так штука... Сестру Соню тоже взял. Зачем ему надо?.. И я очень задумался над этим. И когда пошел из сада, то с крыльца увидел на небе

огромное светлое сияние — крест. Я закричал. Ко мне вышла мать. Я говорю:

— Смотри...

Крест таял.

— Видишь крест...

Мать увела меня домой. Это единственное видение, что помню в жизни своей. Такого больше никогда не было.

II

Мальчиком шести лет я не знал и не понимал, что значило, что мой отец был студент и кончил Московский университет. Это я потом узнал. Вероятно, мне рассказали. Но я помню, как к отцу моему приходили молодые люди и даже не совсем молодые, а старше отца — все это были товарищи его — студенты. Они завтракали летом в беседке сада нашего и проводили там время весело. Там собирались и другие друзья отца, среди них был и доктор Плосковицкий, судебный следователь Поляков, Латышев и Прянишников. Там, я слышал, пели, и некоторые отрывки этих песен остались в моей памяти:

От зари до зари,
Лишь зажгут фонари,
Вереницей студенты
Шатаются.

Студенты были особые люди. Одеты как-то особенно. С длинными волосами, некоторые в темных блузах, а кто в сюртуках, все с большими волосами, толстыми палками в руках, с шеями, перекрученными темными галстуками. Они не были похожи на других наших знакомых и моих родственников. И отец мой иначе одевался.

На стене беседки было написано мелом:

Двуголовье — эмблема, основа
Всех убийц, идиотов, воров.

Или пели они. Все какие-то особые песни, совсем другие, чем песни ямщиков.

Плачет государство,
Плачет весь народ,
Едет к нам на царство
Константин-урод.

Но Царю Вселенной,
Богу высших сил,
Царь благословенный
Грамотку вручил.

Манифест читая,
Сжалился Творец.
Дал нам Николая...

Или:

Когда он в вечность преселился,
Наш незабвенный Николай, —
К Петру-апостолу явился,
Чтоб дверь ему он отпер в рай.
«Ты кто?» — спросил его ключарь.
«Как кто? Известный русский царь!»
«Ты царь, так подожди немного,
Ты знаешь, в рай трудна дорога,
К тому же райские врата
Узеньки, видишь — теснота».
«Да что же это все за сброд?
Цари или простой народ?»
«Ты не узнал своих! Ведь это россияне,
Твои бездушные дворяне,
А это вольные крестьяне,
Они все по миру пошли,
А нищие к нам в рай пришли».
Тогда подумал Николай:
«Так вот как достигают в рай!»

И пишет к сыну: «Милый Саша!
Плоха на небе доля наша.
Коль подданных своих ты любишь —
Богатством только их погубишь,
А если хочешь в рай ввести —
Так всех их по миру пусти!»

Трудно преодолевались в моем понимании эти особенные настроения и мысли этих людей, студентов. Они мне казались особенными, какими-то другими. Их вид, долгие споры, походка и сама речь были иные и впечатляли меня странным беспокойством. Я видел, как управляющий моего отца, который каждое утро приходил к отцу в кабинет, что-то долго докладывал, считал на счетах, приносил и уносил какие-то бумаги, — этот Ечкин сердито смотрел на знакомых отца, студентов. Студенты, сверстники отца, приносили отцу книги, вместе читали. Отец тоже имел много книг и много читал. Студенты спорили по вечерам, когда я уже уходил спать. Я слышал, что они часто говорили про крепостное право, слышал слова «конституция», «свобода», «тирания»...

Однажды к отцу пришел человек высокого роста, брюнет, с пробором посреди. Это был профессор университета, которому отец показывал небольшой портрет тоже какого-то брюнета. Профессор смотрел его. Портрет этот находился у деда моего, Михаила Емельяновича, в его спальне, и висел на стене перед постелью. Я спросил Ечкина, что это за портрет и кто этот дядя. Ечкин мне ответил, что это граф разжалованный.

— Он в родстве вашем будет. А что вот студенты — бог с ними... Только деньги с отца твоего тянут. Срамота, — сказал Ечкин.

Я никогда не видел с ними ни деда, ни Льва Каменева, ни моих теток, ни Волковых, ни Остаповых.

И бабушка моя со стороны матери редко бывала у нас, и Алексеевы никогда не говорили и не были при этих студентах. Я видел, как отец вынимал из бумажника деньги и давал их людям с длинными волосами. У них были какие-то острые глаза, они смотрели сурово. Одеты они были плохо, грязно, сапоги высокие, нечищенные, волосы не стрижены.

— Это все студенты, — говорила мне, вздыхая, няня Таня.

У отца была большая библиотека, и он часто приносил книги. Я любил их смотреть, где были картинки. О прочитанной книге он много говорил со своими знакомыми и много спорил.

Однажды отец с волнением рассказывал матери про Латышева, который перестал бывать у нас. Он мне нравился. Он такой был тихий, мягкий человек. Но я слышал из разговора, что его арестовали и сослали в Сибирь. Отец ездил в арестный дом, и однажды он взял меня с собой. И мы приехали к какому-то огромному зданию. Большие коридоры. И стояли солдаты, одетые в черное, и держали сабли кверху у плеча. Это было что-то страшное. Потом нас провели через узкий коридор, и я увидел длинную решетку, железные толстые прутья. И там за решеткой был Латышев. Отец передал ему сверток с едой — там был хлеб и ветчина — и говорил с ним через решетку. Потом мы пошли назад и вышли из этого страшного дома. Особенно мне было неприятно, что через решетку много людей кричали и разговаривали с людьми, которые были за ней. Это сильно повлияло на меня, и я спрашивал мать, няню Таню, бабушку, но никто мне ничего не отвечал. Отец мне ответил раз, что Латышев не виноват и это все зря.

— Ты не понимаешь, — сказал он мне.

Я видел, что отец мой был расстроен, и помню, что он сказал матери, что Ечкину нельзя доверять.

— Меня все обманывают. Я не хочу судиться, мне это противно. У них нет чести.

Мать была тоже расстроена. Ездил к своей матери, Екатерине Ивановне, и брала меня и брата с собой. У бабушки Екатерины Ивановны в доме было так хорошо. Комнаты в коврах, цветы у окон в корзинах, пузатые комоды из красного дерева, горки с фарфором, вазы золотые под стеклом, с цветами. Так все красиво. Картины... Чашки внутри золотые. Вкусное варенье из китайских яблочек. Такой сад за зеленой загородкой. Там росли эти китайские яблочки. Дом снаружи зеленый со ставнями. Бабушка высокая, в кружевной накидке, в черном шелковом платье. Помню, как мои тети, Сушкины и Остаповы, красивые, в пышных кринолинах, и моя мать играли на больших золотых арфах. Было много гостей. Все другие, какие-то непохожие на этих студентов и на доктора Плосковицкого. Все нарядные гости. И за столом кушанья подавали слуги в перчатках, и шляпы у женщин были большие с нарядными лентами. И они отъезжали от подъезда в каретах.

На дворе в нашем доме, за колодцем у сада, жила собака в собачнике — такой маленький домик, а в нем круглая лазейка. Там-то и жила большая лохматая собака. И привязана она была на цепи. Вот это-то мне и нравилось. А собака такая хорошая, звали ее Дружок. За каждым обедом я оставлял ей кости и выпрашивал куски чего-нибудь, а потом уносил и кормил Дружка. И спускал его с цепи. Пускал его в сад и беседку. Дружок любил меня и при встрече клал лапы мне на плечи, отчего я чуть не падал. Языком лизал меня прямо в лицо. Дружок также любил и брата моего Сережу. На крыльце сидел всегда с нами Дружок и голову клал мне на колени. Но только как кто шел в калитку — Дружок срывался опро-

метью, в злобе бросался на входящего и лаял так, что пугал невозможно всех.

Зимой Дружку было холодно. Я тихонько, никому не говоря, проводил его через кухню к себе, в комнату наверх. И он спал около моей постели. Но мне это запретили; как я ни просил отца, мать — ничего не выходило. Говорили: нельзя. Я говорил это Дружку. Но я все-таки ухитрялся брать Дружка к себе в комнату и прятал его под постель.

Дружок был сильно лохматый и большой. И мы с братом Сережей как-то летом решили его обстричь. И обстригли так, что сделали из него льва: до половины остригли. Дружок вышел лев настоящий, и его стали еще больше бояться. Приходящий утром булочник, который носил хлеб, жаловался, что ходить нельзя, зачем спускают Дружка: ведь чисто лев бросается. Я помню отец смеялся — он тоже любил собак и всяких животных.

Как-то он купил медвежонка и отправил его в Борисово — совсем недалеко от Москвы, поблизости Царицына, за Москвой-рекой. Там было небольшое имение моей бабушки, стоял дом-дача, где летом мы жили. Медвежонок Верка — почему так называлась? — скоро выросла с меня и была замечательно добрая. Играла со мной и братом в деревянный шар на лужку перед дачей. Кувыркалась, и мы с ней вместе. А ночью спала с нами и как-то особенно бурлыкала, каким-то особым звуком, который, казалось, доносился издалека. Она была очень ласковая, и кажется мне, что она думала про нас, что и мы медвежата. Целый день и вечером мы играли с нею около дачи. Играли в пряталки, катались кубарем с горки у леса. К осени Верка выросла выше меня, и как-то раз мы с братом и с ней ушли к Царицыну. А там она залезла на огромную сосну. Какие-то дачники, увидав медведя, заволновались. А Верка, сколько я ее ни

звал, не шла с сосны. Пришли какие-то люди, начальники, с ружьем и хотели ее застрелить. Я разревелся, умолял не убивать Верку, в отчаянии звал ее, и она слезла с сосны. Я и брат увели ее домой, к себе, а начальники тоже пришли к нам и запретили держать медведя.

Помню, это было мое горе. Обнял я Верку и горячо плакал. А Верка бурлыкала и лизала мне лицо. Странно, что Верка никогда не сердилась. Но когда ее заколачивали в ящик, чтоб увезти на телеге в Москву, Верка ревела страшным зверем, и глаза у ней были маленькие, звериные и злые. Верку привезли в Москву в дом и поместили в большую оранжерею сада. Но тут Дружок совсем сошел с ума: лаял и выл не переставая. «Как бы этого Дружка помирить с Веркой», — думал я. Но когда Дружка мы с братом взяли и повели в сад в оранжерею, где была Верка, то Верка, увидав Дружка, отчаянно напугалась, бросилась кверху на длинную кирпичную печку оранжереи, повалила горшки с цветами и прыгнула на окно. Она была вне себя. Дружок, увидав Верку, отчаянно завыл и завизжал, бросившись к нам в ноги. «Вот так история, — подумал я. — Отчего же это они испугались друг друга?» И как мы ни старались с братом успокоить Верку и Дружка, ничего не выходило. Дружок бросался к двери, чтобы уйти от Верки. Видно было, что они друг другу не нравились. Верка была чуть не вдвое больше Дружка, но боялась собаки. И это продолжалось все время. Дружок был обеспокоен, что в саду в оранжерее живет медведь.

В один прекрасный день, утром, к отцу пришел полицейский надзиратель и сказал ему, что получил приказание арестовать медведя и отправить его на псарню по приказу губернатора. Это был для меня отчаянный день. Я пришел в оранжерею, обнимал, гладил Верку, целовал морду и горько плакал. Вер-

ка пристально смотрела звериными глазками. Что-то думала и была обеспокоена. А вечером пришли солдаты, связали ей ноги, морду и увезли.

Я ревел всю ночь и не пошел в сад. Мне было страшно смотреть на оранжерею, в которой не было уже Верки.

Когда я уехал с матерью к бабушке, то рассказал ей свое горе. Она, успокаивая меня, сказала: «Костя, люди злые, люди очень злые». И мне показалось — правда, что, должно быть, люди злы. Они водят других людей по улице, с саблями наголо. Те идут такие несчастные. И это я тоже сказал бабушке. Но она мне сказала, что и эти несчастные люди, которых водят конвойные, тоже очень злые люди и нехорошие. Я задумался над этим и думал, что же это значит и зачем это. Зачем же они злые. Это первое, что я слышал о злых людях, как-то омрачило и озаботило меня. Неужели там, где вся эта музыка, неужели там есть такие люди. Не может быть, чтобы там, за этим садом, где опускается солнце и делается такой прекрасный вечер, где клубятся розовые облака на прекрасном небе, там, где мыс Доброй Надежды, были злые люди. Ведь это же глупо и гадко. Так не может быть, там не может человек быть зол. Там нет этих людей, которые говорят «черт возьми», «ступай к черту», те, которые это говорят, — всегда около моего отца. Нет, их нет там, да их туда и не пустят. Там нельзя говорить «черт тебя возьми». Там музыка и розовые облака.

У бабушки мне очень нравилось. Там было совсем другое, другое настроение. Сама бабушка и гости были приветливы, когда говорили, смотрели в глаза друг другу, говорили тихо, не было этих резких споров — у бабушки как-то соглашались. Так просто. А у нас в доме окружающие отца всегда как-то ни с чем не соглашались. Кричали: «не то», «ерунда»,

«яйца всмятку». Часто я слышал слово «черт»: «ну его к черту», «черт возьми совсем». У бабушки никто не чертыхался. Потом у бабушки эта музыка, когда играли на арфах; тихо слушали; гости были нарядные, большие кринолины, волосы у женщин пышные, пахло духами. Ходили они, не стуча высокими сапогами; уезжая, со мной все прощались. За обедом у бабушки не было квасу и не били рюмки с вином, не чавкали, не сидели, облокотясь на стол локтями. Потом было чисто как-то, прибрано. Не валялись книги, газеты. Музыка арф так красива, и мне казалось, что эта музыка похожа на синее небо, на облака вечерние, которые ходили над садом, на ветви деревьев, которые спускались к забору, где к вечеру розовела заря, и там за этим садом, там далеко, где-то есть мыс Доброй Надежды. Я чувствовал у бабушки, что есть мыс Доброй Надежды. У нас не было этого чувства. Что-то было грубое, и мне казалось, что все кого-то бранили, что-то не так, кто-то виноват... Не было этого отрадного, далекого, прекрасного, которое там, которое придет, желанное, доброе. И когда я возвращался домой, мне было грустно. Придут студенты, будут кричать: «Какой Бог, где он, Бог?» И какой-то студент скажет: «Я не верю в Бога...» И глаза у него мутные, злые, тупые. И он груб. И я будто чужой. Я ничего. Никто не подойдет, не скажет мне: «Здравствуй». А у бабушки мне скажут, спросят: «Что ты учишь?» Покажут книжку с картинками. Когда рисовала мать, то я чувствовал себя около матери, как и у бабушки. И в картинках, которые рисовала мать, мне все казалось, что она рисует все это там, где мыс Доброй Надежды. Когда я остаюсь ночевать у бабушки, то бабушка велит мне в постели на коленях читать молитвы и молиться Богу, и после я уже ложусь спать. А дома мне ничего не говорят. Скажут: «Иди ложись спать» — и только.

Тетки мои, которые бывают у нас в доме деда в Рогожской, тоже другие — толстые, с черными глазами. А дочери их, молодые, худые, бледные, робкие, сказать боятся, конфузятся. «Какие разные люди, — думал я. — Отчего это?»

Пришла тетка Алексеева и сидела в зале на кресле и горько плакала, вытирая слезы кружевным платочком. Говорила в слезах, что Аннушка залила на стурции — поливает и поливает. Я подумал: «Какая чудная тетка. О чем плачет».

Другая моя тетка, помню, сказала про мою мать: «Белоручка. Она не знает до сих пор, куда в самовар воду наливают и куда угли кладут». А я и спросил мать — куда угли кладут в самовар. Мать посмотрела на меня с удивлением и сказала: «Пойдем, Костя». Повела меня в коридор и показала в окно сад.

Зима. Сад был весь в инее мороза. Я смотрел: действительно, это было так хорошо — все белое, пушистое. Что-то родное, свежее и чистое. Зима.

А потом мать рисовала эту зиму. Но не выходило. Там были узоры ветвей, покрытые снегом. Это очень трудно.

— Да, — согласилась мать со мной, — эти узоры трудно сделать.

Тогда я тоже начал рисовать, и ничего не выходило.

III

После смерти деда в доме на Рогожской улице все постепенно изменилось. Мало осталось ямщиков. Уже не было слышно вечером их песен, и конюшни опустели. Стояли покрытые пылью огромные дормезы; унылы и пусты были дворы ямщиков. Приказчика Ечкина не было видно в нашем доме.

Отец мой был озабочен. Много приходило людей в дом. Помню, как отец платил им много денег и какие-то белые бумажки длинные, векселя, он складывал вечером вместе, перевязывал бечевкой и клал их в сундук, запирая. Как-то уезжал он. В парадном ходе крыльца моя мать провожала его. Задумчиво смотрел отец на окно, покрытое инеем мороза. Отец в руках держал ключ и, задумавшись, прикладывал ключ к стеклу. Там образовалась форма ключа. Он переставил его в новое место и сказал матери:

— Я разорен... Дом этот продадут.

* * *

Уже прошла Николаевская железная дорога и окончена была до Троице-Сергия, а также построена была дорога и до Нижнего Новгорода. Так что ямщина была закончена. По этим дорогам уже редко кто ездил на лошадях: ямщина была не нужна... Значит, отец сказал: «Я разорен», потому что дело кончилось. Троицкую железную дорогу провели Мамонтов и Чижов, друзья моего деда. Вскоре я с матерью переехал к бабушке, Екатерине Ивановне Волковой. Мне очень нравилось у бабушки, а потом оттуда переехали мы на Долгоруковскую улицу, в особняк фабриканта Збука. Кажется, — хорошо не помню, — отец мой был мировой судья. Большой двор был у дома Збука и большой сад с заборами, а дальше шли полянки. Еще не отстроена была хорошо Москва, Суцево. Вдали были видны фабричные трубы, и помню я, как на праздниках на эти полянки выходили рабочие, сначала молодые, потом постарше, друг перед другом кричали: «выходи», «отдай наше» — и дрались друг с другом. Это называлось «стенка». До самого вечера слышался крик: то были игры-драки. Я много раз видел эти драки.

СОДЕРЖАНИЕ

МОЯ ЖИЗНЬ	5
РАССКАЗЫ	
Первая любовь	91
Случай с Аполлоном	97
Меценат	102
Молодость	109
Смерть отца	115
Татьяна Московская	123
«Этот самый Пушкин...»	130
Московская канитель	136
Племянница	143
Московские чудачки	148
Профессор Захарьин	154
Магистр Лазарев	159
М. А. Морозов	165
«Демон»	170
В Крыму	176
В деревенской глуши	185
Колька	191
Дом честной	196
В деревне	202
Собаки и барсук	208
Тайна	214
Звери	221
Мой Феб	226
Белка	233
Вечер весны	239
Васина супруга	244
Мороз	251
Ночь и день	257
Свое	264
Указатель имен	270